

Николай Семенович Лесков

Под Рождество обидели

(Житейские случаи)

На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем сообщая всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг под вернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого, - человека, которого знает множество людей в Петербурге, - под праздник обидели, а он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается.

Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, - это все равно: дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде.

Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный, одинок, холост и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся - какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком? Исскушается слуга от нечего делать и начнет придирается и ссориться и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется.

Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйства он никакого дома не держит, а необходимые услуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит.

Квартира небольшая, однако в три комнатки и помещается во втором этаже, - посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться и, как я говорю, - много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под рождество случилась большая обида.

Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день, и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьей над ворами и вот что об этом рассказывают.

Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самую крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться.

А воры, как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться: в кладовой было множество всякого добра - и летней одежды и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста и сукон - всего набито от потолка до самого до полу... Как смелому вору такое дело бросить?

Вот воры и придумали смелую штуку.

Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному:

- Я хорошее средство придумал: у тебя есть сынишка пяти годов - он еще маленький, и тельцем мягок, - он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем - мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое рождество - скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдём все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкою, и дадим ему скрытый фонарь с огнем да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать, да все и повытаскаем, а потом опять дитя само подпояшется, - мы и его назад вытащим и поделим все на три доли с половиною: нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли, и от нас ему сладких закусок, - пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится.

Отец-то вор - хорош, видно, был - не отказался от этого, а согласился; и как пришел вечер сочельника, он и говорит жене:

- Я ноне пообщался сходить в монастырь ко всенощной, - там благолепное пение, собери со мной паренька. Я его с собой возьму - пусть хорошее пение послушает.

Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за Московскою заставою и начали пить водку и пиво умеренно; а дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось; а как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, - они все встали, зажгли фонарь и ушли, и ребенка с собой повели, да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать: мальчонка оказался такой смышленный и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи, а они все вытаскивают, и наконец столько всякого добра натаскали, что видят - им втроем уж больше и унести нельзя. Значит, и воровать больше не для чего.

Тогда нижний и говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит:

- Довольно, братцы, - нам на себе больше не снести. - Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу.

Верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику:

- Довольно брат, больше не надобно... Теперь сам себя крепче подпояшь да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем.

Мальчик опоясался, а они стали его тащить и уже до самого до верха почти вытащили, как вдруг, - чего они впотьмах не заметили, - веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалася и вдруг лопнула, так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры от этой неожиданности потерявши равновесие и сами попадали... Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай... Сейчас все люди проснутся и выскочут, и тогда, разумеется, ворами гибель. К тому же как раз сближалось время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутрене и тогда непременно воров изловят с поликою.

Воры схватили кто что успел зацепить и бросились наутек, а в купеческом доме все вскочили, и пошли бегать с фонарями, и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет.

Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, - потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой...

И стали все суетиться и кричать, что теперь делать: давать ли знать о том, что случилось, в полицию или самим гнаться за ворами? А гнаться впотьмах-то не знать в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием и впотьмах убьют человека как курицу. У нас в городе воры ученые, - шапки по вечерам выходили снимать и то не с пустыми руками, а с такой инструментинной вроде щипцов с петелькою, - называлась "кобылкою". (Об ней в шуйских памятях писано.) А купец, у которого покражу сделали, отличный человек был - умный, добрый и рассудительный, и христианин; он и говорит своим молодцам:

- Оставьте, не надобно. Чего еще! Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит.

А молодцы говорят:

- То и есть правда: нам Господь дитя на уличенье злодеев оставил. Это перст видимый: по нем все укажется, каких он родителей, - тогда все и объявится.

А купец говорит:

- Нет, не так: дитя - молодая душа неповинная, он не добром в соблазн введен - его выдавать не надобно, а прибрать его надобно; не обижайте дитя и не трогайте: дитя - Божий посол, его надо согреть и принять как для Господа. Видите, вон он какой... познобившись весь, да и трясется, испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика... Бог с ним совсем, что у меня пропало, они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне Бог привел, вы и молчите, может быть, оно у меня и останется.

И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался, и купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец и все его в доме любили.

А у купца была одна только дочь, а сыновей не было, и дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилася. И стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене:

- Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять, а для чего мы ей станем на стороне жениха искать, Это ведь дело сурьезное, особливо как мы люди с достатками и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет.

Жена отвечает:

- Это правда, так всегда уже водится.

- То-то и есть, - говорит купец, - еще навернется какой-нибудь криводушник да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь: загубим ведь мы девку как ясочку, и будем потом и себя корить и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее.

- Как же так? - говорит жена.

- А вот мы как дело-то сделаем: обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый, да и дочь - что греха таить - вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся.

Согласились так и повенчали молодых; а старики дожили свой век и умерли, а молодые все жили и тоже детей нажили и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастии, а тут и новые суды пришли, и довелось этому приемышу - тогда уже старику - сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет и вдруг глаза

закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздались рыдания.

Председатель суда спрашивает:

- Скажите, что с вами?

А он отвечает:

- Отпустите меня, я не могу людей судить.

- Почему? - говорят, - это круговой закон: правым должно судить виноватого.

А он отвечает:

- А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, разрешите мне перед всеми вину сознать.

Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не позволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался и пойман был и помилован, и остался как сын у своего благодетеля, и всех это его покаяние тронуло и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлую неосужденую вину, - все к нему относились с почтением по-прежнему, как он свою доброю жизнью заслуживал.

Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались: какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души.

- Утешаться надо, - говорю, - что такое добро в людях есть.

- Да, - отвечает приятель, - хорошо утешаться, а еще лучше того - надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться.

Так мы говорили (это на сих днях было), а назавтра такое случилось, что разве как только в театральных представлениях все кстати случается.

Приходит ко мне мой приятель и говорит:

- Дело сделано.

- Какое?

- У меня неприятности.

Думаю: верно что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный.

- Нет, - говорит, - неприятность огромная: кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась... Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит и все высыпано... золотая цепочка валяется и еще кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, да древних монеток штук шестьсот, да конверт, в котором лежало пятьсот рублей на мои похороны и билет на могилу рядом с матерью...

Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления.

- Что это? Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готово уже в таком самом роде повторение.

Точно на экзамен его вызвали.

- Ну-ка, мол, вот ты вчера чужой душой утешался, - так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух довлеющий?

Присел я молча и спрашиваю:

- Что же вы сделали?

- Да ничего, - отвечает, - покуда еще не сделал, да не знаю и делать ли? Говорят, надо явку подавать...

И спрашивает меня по-приятельски: каков мой совет? А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде - как советовать? Пропало не мое, а его добро - чужую обиду легко прощать...

- Нет, - говорю, - я советовать не могу, а если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилось.

Он говорит: пожалуйста, расскажите.

Я и рассказал, что раз со мною и с вором случилось.

Сделал я раз себе шубу, и стала она мне триста рублей, а была претяжелая. Так, бывало, плечи отсадит, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку - идучи все ее с плеч спускать и от того скоро обил в ней подол. Утром в рождественский сочельник служанка говорит мне:

- Шуба подбилась: я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игле, весь подол станет морщиться; дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть - очень хорошо починку делает; не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет.

Я отвечаю: "Хорошо". Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом, своему знакомому портнишке.

А сочельник пришел с оттепелью, капли капали: вечером мне шуба не понадобилась - в пальто было в пору.

Я про шубу забыл и не спросил ее, а на рождество слышу, в кухне какой-то спор и смущение: дворник бледный и испуганный, не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет и сам портнишка пропал... Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал.

Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет как нет, и говорят, что и портного нет... Жена у него осталась с двумя детьми, - один лет трех, а другой грудной... Бедность, говорят, ужасающая: и женщина и дети страшные, испытые, - жили в угле, да и за угол не заплочено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается... Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли... Пропал портнишка, как в воду канул... Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на первой недели великого поста прибегают ко мне дворник... весь впопыхах и лепечет скороговоркою:

- Пожалуйста к мировому, я портнишку подсмотрел... подсмотрел его, подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к судье свел. Он там у сторожа... Сейчас разбор дела будет... скорее, пожалуйста... подтвердить надо... ваша шуба пропала.

Я поехал... Смотрю, действительно сторож бережет какого-то человека худого, тощего, волосы как войлочек, ноги портновские - колесом изогнуты, и весь сам в отрепочках, - починить некому и общий вид какой-то полумертвый.

Судья спрашивает меня: пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила?

Я отвечаю по правде: была шуба такая-то, заплочена была триста рублей, а потом ношена и сколько стоила во время пропажи - определить не могу; может быть, на рынке за нее и ста рублей не дали бы.

Судья стал допрашивать портного - тот сразу же во всем повинился: "Я, - говорит, - ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать и деньги за работу получить... На грех дворника дома не было и дверь была заперта, а господина я не знал по фамилии, ни где живут, а у нас в сочельник в семье не было ни копейки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу, а на взятые под залог деньги купил чайку-сахарцу, пивка-водочки, а потом утром испугался и убежал, и последние деньги пропил и с тех пор все путался". А теперь он и не знает, где и квиток потерял, и закладчика указать не может.

- Виноват, пропала шуба.

- А сколько, по-вашему, шуба стоила?

Портной не стал вилять и говорит:

- Шуба была хорошая.

- Да сколько же именно она могла стоить?

- Шуба ценная...

- Сто рублей она могла, например, стоять?

Портной себя превосходит в великодушии.

- Больше, - говорит, - могла стоять.

- И полтора ста стоила?

- Стоила.

Словом - молодец портной: ни себя, ни меня не конфузит.

Судья и зачитал: "по указу", и определил портного на три месяца в тюрьму посадить, а потом, чтобы он мне за шубу деньги заплатил.

Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего.

Я пошел домой, портнишку повели в острог, а его жена с детьми завывали в три голоса.

Чего еще надобно?

Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному, по-русски называли "комчугою". Верно ей дано это название! Днем эта болезнь еще и так и сяк - терпеть можно, а как ночь придет, так она начинает "комчить", и нет возможности ни на минуту уснуть. А как лежишь без сна, то невесть что припоминается и представляется, и вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми... Он теперь за мою шубу в остроге сидит, а с бабой и детьми-то что делается?.. И при нем-то им было худо, а теперь, небось, беде уж и меры нет... А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего он мне никогда этот портнишка заплатить-то не может, да если бы я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только "сумой пахнуть"...

Никогда я этого донимать не стану...

А зачем же была эта явка-то подана?

И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать: жива ли портнишкина жена и что с нею и с детьми ее делается?

Дворник узнал и говорит: "Ее присуждено выселить и как раз их сегодня выгоняют: за ними за угол набралось уже шесть рублей".

- Вот те мне, и ахти мне!

А "комчуга" ночью спать не дает и в лица перекидается: задремешь от усталости, а портнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам как по болвашке¹ водить... И все водит, все разглаживает, да на суставах острым углом налегает...

И так он меня прогладил, что я поскорее дал шесть рублей, не полегчает ли если уж не на теле, то хоть на совести, - потому, так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата.

Жена портного оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за шесть рублей... А сама вся в лохмотьях, и дети голые...

Дал им еще три рубля...

А как ночь, так портнишка опять идет с холодным утюгом... и зачем это я только наделал?..

Рассердишься и начинаешь думать: а как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать? Так все и сомневаются. А тут пасха пришла... Портному еще полтора месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по два много раз, а к пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию... Ну, по силам своим и увеличил, да жена его о себе иначе понимать стала, и на меня недовольна и сердится:

¹ Болвашка - деревянная портновская колодка, на которой разутюживают. (Прим. автора.)

- Кормильца нашего, - говорит, - оковал: что я с детьми теперь сделаю. Ты нас убил - тебя Бог убьет.

И смешно, и досадно, и жалко, и совестно: несравненно бы лучше было, если бы моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы это тогда и милосерднее, да и выгоднее: а теперь если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей - корми воровскую семью, а то где твоя совесть-то явится? Заморить-то ведь это и палач может, а ты, небось, за один стол не хочешь сесть ни с палачом, ни с доносчиком...

Кормлю я кое-как семью портнишкину, а на душе все противное... Чувствую, что будто я сделал что-то такое, хуже чем чужую шубу снес... И никак от этого не избавиться...

И вот под самую пасху, все пошли к утрени, а я больной остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалуется орловский купец Иван Иванович Андросов... Старичок был небольшой, очень полный с совершенно белой головой, и лет сорок тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своею кончиною он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который каким-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого старика уважал и называл "праведником", а я только помню, что он ходил в садах яблони прививать и у нас, бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет: он встает и кресло на нем висит как раковина на улитке. Никогда он ни о чем не тужил и про все всегда говорил весело, а когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался:

- Ну, так что ж!

- А вы бы, Иван Иванович, жаловались.

А он отвечает:

- Вот тебе еще что ж!

- А помрешь с голоду?

- Ну, так что ж!

- И схоронить будет некому.

- Вот тебе еще что ж!

Говорили: он глуп.

А он не был глуп: он пришел к нам на рождество и все ел вареники и похваливал.

- Точно, - говорит, - будто я тепленькими хлопочками напихался, и вставать не хочется.

И так и не встал с кресла, а взял да и умер, и мы его схоронили.

Ведь такой человек очевидно знал, что делал! "В бесстрашной душе ведь Бог живет".

Так-то бы, мол, кажись, и мне следовало сделать: Пропала! - "Ну, так что ж"... А жаловаться? - "Вот тебе еще что ж!" И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее.

Тут как я это рассказал, мой обокраденный приятель и взял меня на слове.

- Вот, - говорит, - и я думал, так и я все так и сделаю. Ничего я никому не подам: и не хочу, чтобы начали тормозить людей и отравлять всем Христово рождество. Пропало и кончено: "Ну так что ж, да и вот тебе еще что ж"?

На этом он дело и кончил, и я ему ничего возражать не смел, но потом досталось мне мучение: в один день довелось мне говорить об этом со многими и ото всех пришлось слышать против себя и против его все несхожее. Все говорили мне:

- Это вы глупо обдумали!.. Так только потачка всем... Вы забыли закон!..

Всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило.

Читатель! будь ласков: вмешайся и ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя учил сегодняшний новорожденный: наказать или помиловать?

Если ты хочешь когда-нибудь "со Христом быть" - то ты это должен прямо решить и как решить - тому и должен следовать... Моет быть, и тебя "под рождество обидели" и ты это затаил на душе и собираешься отплатить?.. Пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет... Это очень возможно, потому что мы плохо помним, в чем есть настоящее "первое правило"... Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко: обдумай - с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного закона, или с тем, который дал тебе "глаголы вечной жизни"... Подумай! Это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден... Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе: "Прости обидчику и приобрети себе в нем брата своего".

Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умен, - и выбери себе и в пустяках-то полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность.

Обуянная соль

(Литературная заметка)

Соль - добрая вещь, но если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уж ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон.

Моя мимолетная беседа в рождественском номере "Петербургской газеты", к удивлению моему, не перестает беспокоить некоторых писателей и других серьезных особ, от которых я и получаю укоризны словесные, письменные и печатные. Я рассказал, как обворованный не захотел искать вора, а мне хотят доказать, что этим дан дурной, "соблазнительный" пример, ибо прощать человеку преступление не должно, а непременно надо виновного судить и наказывать. В одной газете еще сильнее сказано: "следует казнить".

По твердости и решительности тона, каким это высказывается, я должен думать, что требование "казней" исходит от лиц совершенно чистых и безгрешных, которым не страшно поднять и бросить камень в виноватого, и я прежде всего признаю за ними в этом отношении их огромное надо мною преимущество: я не так чист сам, чтобы швырять камень в другого. Мне, может быть, не следовало бы и разъяснять, что ошибочно в этих суждениях, но я это сделаю не для себя, а для молодых писателей, перед которыми не только меня укоряют за "соблазн", но и порицают старый добрый литературный идеал, на место которого рекомендуют принять нечто другое, по моему мнению, нимало не высшее, а, напротив, гораздо низшее и притом совершенно несвойственное духу, в каком следует вести рождественскую беседу.

Я чувствую себя призванным разъяснить, что идеал, которого я держался, вполне разумен и благороден, что простить обидчика гораздо выше, чем казнить его, и что в рождественском рассказе, - с тех пор как эта литературная форма вошла в употребление, - всегда было принято представлять сюжет, смягчающий сердце, и

трактовать этот сюжет в духе Евангелия, а не в духе политической экономики или Устава о предупреждении и пресечении преступлений.

В трех случаях, о которых я писал в рождественском номере, рассказано о двух людях, которые не захотели преследовать судом обидчиков, посягнувших на их собственность, и о третьем, который получил неудовольствия по поводу осуждения вора. Я отнюдь не порицал тех, кто ищет своих пропаж и предаёт похитителей судье и истязателю, а я только рассказывал в день Рождества Христова о таких людях, которые были столь милостивы, что не захотели искать и наказывать своего обидчика. И мне кажется, что это нимало не преступно и не соблазнительно, ибо всем известно, что милосердие должно ставить выше отместки и прощение выше наказания. Я думаю, нет нужды называть, кто учил нас этому и сколько есть всем известных характерных текстов на эту тему. И до сих пор это не вызывало ни раздражения, ни спора, ни гнева в литературе. И на театре нам показывали, как купец Гордей Торцов прощал мота и пьяницу Любима, и в исторических рассказах передавали, как известный хлебосол Разумовский посылал дорогой прибор гостю, на которого пало подозрение, что он украл одну ложку с этого прибора... Не полиции о нем заявил, а дослал ему то, что им было недобрано... И множество подобных вещей никогда не почитались за "соблазн" и за "расшатывание порядков жизни", а теперь вдруг такой оборот, что такие же самые движения сердца почитаются за дурное и за вредное!..

Что за искушение!

Идеал и взгляд в нашей литературе нынче, значит, изменились, и изменились они не к лучшему, а к худшему, так как евангельский идеал, к которому до сих пор проникалась уважением литература, без сомнения, выше правды всякого судебного. Стараясь склонять литературу к тому, чтобы она вместо заботы об умягчении сердец прилагала усилие внушать беспощадность к преступнику, есть дело недостойное доброго и рассудительного писателя. Как сделать, чтобы высший христианский идеал прощения привести в согласие с политической экономией и Уставом о предупреждении и пресечении, - этого я не знаю и думаю, что это к обязанностям изобразительной литературы нимало и не относится; но я знаю, что литература должна искать высшего, а не низшего, и цели евангельские для нее всегда должны быть дороже целей Устава о предупреждении. Нам дано ясное указание: "Голос вопиет: уравнивайте стези, по которым идет спасение". Спасение же общее для всех "в любви, в прощении обид, в милосердии ко всякому - к своему и к самарянину", а цель и радость в том, что при общем смячении сердец "мечи будут перекованы на сошники, и мир Божий водворится в сердцах всех людей", и, когда исправится в злобе своей человек, тогда он исправит всю природу до того, что "ягненок будет лежать возле льва, и лев не станет вредить ему". Мы чувствуем, что дело идет к этому, и верим тому, за кем хотим следовать, почитая учение его за самое совершенное и спасительное для человеческого рода.

Если же литература отступит от этого высокого и верного направления и предаст себя на служение целям политической экономики или Уставов о пресечении, то она, несомненно, уклоняется от своего высшего назначения - "чувства добрые в сердцах чтоб пробуждать", и является в низшей роли, "как бы рабыню чуждого господина". И тогда ею уже нельзя осолять гнилость, а она будет то, что "обуянная соль, потерявшая свою соленость, которую остается выбросить вон".

К этому ее, очевидно, и толкают, и ногами на нее топают литературные слепцы, "отцеживающие комара и проглатывающие верблюда". Это может подавать молодым писателям самый дурной и вредный пример, и писатель, прошедший долгий путь жизни, обязан указать на эту опасность - что я и делаю.